



Валерий Гришковец

ОТЕЦ

Эссе

ПРОЗА

Вспоминая отца, не припоминаю его улыбающимся, а чтобы смеющимся... По-моему, отец или, как чаще всего я, уже в ранней молодости, звал его, просто «батя» не смеялся вообще. Да и улыбался не так уж и часто: когда порадуешь его хорошей новостью или если удавалось ему сделать что-то особенное по хозяйству для блага семьи и улучшения быта в доме. Нынче в это как-то и не верится, отец мой не был, что называется, сухарем, да и с юмором у него всё было в порядке. Мог иной раз и, так сказать, подколоть или маленько подшутить над тобой, при этом слегка улыбнется и... на этом всё. Ну а слово «батя» у нас воспринималось легко, скорее всего, потому, что было весьма схоже с местным: отец — *батько*.

Батя был человеком работающим, умелым в любом деле, что касалось дерева, точнее сказать, деревообработки. С топором обращался легко и даже красиво, лучше, чем я, к примеру, с пишущей ручкой. В его руках, когда батя тесал лесину, топор просто играл, и бревно выходило обработанное точно по шнурку — ровно, без сучка-задоринки. Посмотришь, бывало — ровно, гладко, словно кто еще и рубанком прошелся. И с другим плотницким инструментом — рубанком, фуганком, киянками, долотами, стамесками и прочим — обращался по-свойски, просто играючи.

Так в родительском доме понемногу на моей памяти появлялась мебель, сработанная руками отца: диван с пружинным матрасом и высокой и широкой спинкой. Хорошо помню, как не раз смотрелся в зеркало, встроенное в спинку. Видимо, по тогдашней моде. Этот диван долго стоял в комнате родителей. Позже, когда купили телевизор, батя смастерил, буквально за день-два, тумбочку под него. Я, как это и бывало в ту пору, помогал ему. Держал доску, которую батя распиливал, что-то подносил и относил, помогал клеить облицовочный шпон — строганную из дуба тонкую древесную пленку.

В этой же комнате, которую мы называли большой, стояла этажерка, которую отец смастерил задолго до появления у нас в доме телевизора. На ее полках располагалась наша домашняя «библиотека» — десятка полтора-два книг разного содержания и жанров. Ну и стол, этот самый круглый, сделанный из дуба, что сейчас стоит в моем доме. А на кухне, встроенные в стену, висели полки для посуды, в углу — приспособление из дерева со встроенным в него металлическим умывальником и тазом, в который сливалась вода. Потом появилось нечто более солидное, что мы называли сервантом. В него переместили с полок посуду, хранили крупы, муку и прочее такое.

Но самой значительной мебелью в родительском доме был, конечно, диван. Я на нем спал, когда в другой комнате (кстати, их в родительском доме было всего две) обосновалась семья моего брата — жена и двое сыновей. Сестра еще до моего ухода в армию окончила Пинский гидротехникум и уехала по распределению. После того, как отца разбил инсульт, я часто спал на кухне, постелив на полу матрац, точно такой, на каком спал в армии. Так продолжалось четыре зимы. Летом я располагался на ночь в сарае. И спал в нем буквально до первых холодов — так не хотелось мне в дом, где всё меньше и меньше оставалось мне места. Я и писал в сарае, много писал. Зажгу свечку, поставленную в банку от рыбных консервов, наполненную на всякий случай водой, и пишу либо читаю, пока сон не сморит окончательно...

В доме, построенном и отцом (дом в одиночку не построишь), я прожил до 27 лет. К сожалению, из того, в полном смысле моего, отцовского дома мы выносили бату на руках. После тяжелого инсульта он так и не оклемался. И умер в квартире на втором этаже, так ни разу не выйдя из нее, разве что выходил, помогая себе палочкой, посидеть на балконе.

Накануне переезда в многоквартирный дом, даже задолго до переезда, батя не однажды говорил, как не хочется ему переезжать и доживать в человеческом улье. Так он, родившийся и проживший не один десяток лет в собственном доме, с огородом и садом, пусть и совсем небольшими, но для человека, появившегося на свет божий еще в Российской империи и прожившем почти два десятка лет в межвоенной Польше, называл многоквартирные дома. Что тут скажешь, время и обстоятельства формируют характер человека, его мировоззрение, его сущность. Так что вполне понятно отношение бати к частной собственности: он считал ее краеугольным камнем благополучия и счастья человека. Вокруг же всё было наше и ничего или почти ничего своего. С переездом в многоквартирный дом батя, как я теперь понимаю, на подсознательном уровне сознавал: он теряет последнюю собственность, дом, в который он вложил свои силы и душу, строя его, а затем, как только в родной деревне началась коллективизация, правдами и неправдами выбив паспорт и городскую прописку, перевозил его в город.

Это произошло за два года до моего появления на свет божий. Отцу и его брату Петру разрешили поставить дом в центре Пинска, на улице Ясельдовской, неподалеку от улицы Брестской. Но через каких-то год-два рядом, на углу Брестской и улицы Горького, возвели многоквартирный дом с продовольственным магазином на первом этаже. Это был первый большой жилой дом в городе. Не было до этого в Пинске и такого продмага. Дом предназначался для разного рода начальства, как городского, так и военного, коих здесь становилось всё больше. Еще никто не знал про центральное отопление, так что для обогрева дома

необходимо было построить котельную. Ее и поставили на месте нашего дома, а под наш дом выделили место на улице Пугачева, на тогдашней заводской окраине Пинска. Мне было полгода, как дом, в который внесли меня младенцем, перенесли на улицу Пугачева. С одной стороны гудели «спичка» и «фанерка», с другой — «литейка». Пройдет немного времени, снесут тюрьму, и в ее стенах и возведенных рядом строениях разместят биомедицинский завод, а немного поодаль на запад возведут с нуля «кожзавод». Кстати, я хорошо помню пинскую тюрьму, сторожевые вышки на Полесской и Брестской улицах...

Но я отвлекся. Это, скорее всего, потому, что мне дорог, очень дорог этот район Пинска, несмотря даже на то, что по сей день помню, как долго, пока не ввели какие-то фильтры и прочее, мы буквально задыхались от запахов с «биомедицинского», как трудно было уснуть, пока к полночи не стихал гул и грохот «литейки»; как весной и осенью мы пробирались до дома по каким-то временным мосткам из старых камней и досок... Но здесь проходило мое детство и юность — самая прекрасная пора жизни, так что не замечались серые обшарпанные стены заводских цехов, не обращалось внимания на гул и грохот, на дымы производственных труб, на специфические запахи. Почему-то больше других вспоминается и помнится запах сырой древесины, слегка горьковатый и хмельной, особенно теплыми весенними вечерами...

Мне трудно, просто тяжело было съезжать с улицы Пугачева, из моего дома, в котором оставались мои детство, юность и молодость. А каково было отцу? Он строил этот дом еще в деревне, а потом дважды перевозил и собирал его в городе... Уезжая с Пугачева на седьмом десятке лет, тяжело больной, так и не ставший снова на свои ноги, что думал батя, понять нетрудно уже только потому, что когда его выносили из дома, он весь как бы трясся, и слезы текли у него по лицу.

А дом, построенный и его руками, в очередной раз пошел под снос. Расширялся литейно-механический завод, что располагался сразу же за нашим забором. Нашей семье, как и семье брата отца, моего родного дядьки Петра, жившей на другой половине, завод по такому случаю выделил квартиры. Как непременно подчеркивалось, со всеми удобствами. Отдельную квартиру завод выделил и моему старшему брату с семьей, а также двоюродным братьям. Все они были женаты, имели детей и, разумеется, с нетерпением ждали, когда, наконец-то, «литейка» снесет наш дом. Не хотели этого разве что бессемейный я да больной, разбитый инсультом батя. Я привык к нашей всё еще зеленой улице, пусть уже и не такой тихой, как бывало, когда «литейка» еще не размахнулась так широко. В этом районе у меня была куча друзей, тут знали меня даже собаки, так что, подзагуляв, можно было без особых проблем добраться до родного порога...

Дом снесли и продали куда-то в деревню на новую сборку. Бревна разобрали, пронумеровав заранее, а потом собрали по номерам уже новые хозяева. Я даже не спрашивал у матери, куда, в какую деревню ушел наш дом. Мне было как-то больно сознавать, что в моем доме живут другие люди. А деньги от его продажи — четыре тысячи рублей — родители и дядька Петр поделили. Мать свои две тысячи «положила на книжку»: «На смэрць будэ». Так оно, кстати, и вышло: распался (умер) Советский Союз, а с ним «умерли» и две тысячи родительских сбережений...

Пока не снесли и не продали дом, я несколько раз в начале лета приезжал на свою улицу. Дом стоял закрытый, во дворе не было ни скамейки, ни стула, так я садился на травку под грушей, посидеть, повспоминать — мне так тяжело было расставаться с МОИМ домом, так хотелось хоть в мечтах-думах побыть-пожить в нем...

В нашем доме совсем немного было мебели. Диван, тумбочка под телевизор, кухонный стол, полки под посуду, а также довольно большой, к тому же — на случай — раздвижной круглый стол были сработаны руками отца. Именно сработаны, а не сделаны. А если сделаны, то мастерски. В свою работу — это было видно любому — батя вкладывал душу, всю, без остатка...

После смерти матери (она умерла на 85-м году, пережив мужа на четырнадцать лет и прожив одинокой почти тридцать), переезжая на свою нынешнюю квартиру, я забрал лишь круглый стол. Его бы выбросили, но я настоял забрать его в новую, как я теперь окончательно сознаю, мою последнюю на земле квартиру. Больно уж хотелось мне, чтобы хоть что-то из моего, того, отцовско-материнского дома было со мной до конца моих дней...

Стол этот, как я, переехав сюда, вычислил, батя смастерил летом 1962 года. Год, как полетел в космос Гагарин. Мать так и говорила. Апрель шестьдесят первого она запомнила потому, что впервые пошла работать на завод. До того сколь ни пыталась найти в городе работу, не могла устроиться. Предприятий было немного. Строек, какие начались ближе к середине шестидесятых, еще не было, так что с работой в Пинске было непросто. А человеку без профессии, каковых на то время оказалось в Пинске немало, работу и вовсе было не найти. Западное Полесье полностью переходило на новый, колхозный лад жизни. Многие селяне, едва вкусив пирога этой самой новой жизни, подались в город. Было это непросто. Но батя смолоду работал в Пинске. Его отец был малоземельным, мать умерла, когда ему не было и пятнадцати лет. В семье было еще трое детей — десятилетняя сестра Ольга, восьмилетний Максим и трехлетний Петр. Старший брат Иван, достигнув совершеннолетия, уехал на заработки в Аргентину. И хлеб насущный, живя на селе, правда, недалеко от Пинска, батя пришлось добывать в городе. Так, еще «за польским часом», он оказался на пинской «фанерке».

В 1934 году отца призвали на службу в Войско Польское. Служить довелось в Гдыне. Не особо говорливый, изредка и всё как-то мельком батя нет-нет да и обмолвливался про свою службу в армии пана Пилсудского. Ему, как и другим польским солдатам православного исповедования, доводилось выполнять много черновой армейской работы. По выходным и праздничным дням католического календаря солдат поляков строем вели в костел, а наряды по службе и разные бытовые работы в воинской части приходилось выполнять солдатам православного исповедания и евреям. Их также немало было в Войске Польском. Разумеется, в рядовом составе. Выше капрала православному, как и еврею, в польской армии предвоенного времени было не подняться. Про офицерство и думать не приходилось. Кстати говоря, солдат с «кресов восточных»¹ православного исповедания, как и вообще здешний православный люд, в межвоенной Польше считали русскими. Ну а католиков, соответственно, поляками. Никакой белорусской национальности, как

¹ Кресы восточни — восточные земли (польск.).

и вообще Белоруссии и БССР, в Польше Пилсудского не признавали. Думаю, это в немалой степени повлияло на то, что отец, да и мама считали себя русскими. Ну а, собственно, русских они называли «восточниками». Впрочем, «восточниками» мои родители называли и белорусов, переехавших в Пинск из той части Белоруссии, что до сентября 1939 года входила в БССР...

Вернувшись из Войска Польского, батя вернулся и на пинскую «фанерку». Тягал, как не раз вспоминал, «вагонки» со шпоном. Такую работу давно выполняют электрокары, разумеется, управляемые человеком. А тогда шпон для выпуска фанеры к прессам подвозили «вагонками» по рельсам — два человека руками, но чаще всего плечом толкали «вагонки». Они нередко съезжали с рельсов. Тогда работяги, толкавшие их, брали в руки лаги, приподнимали «вагонку», ставили колеса на рельсы и толкали дальше. Было, что и травмировались при этом. Хорошо помню, как лет в пять-шесть с мамой навещали отца в больнице. Он как раз и травмировался, ставя «вагонку» на рельсы. Лага сорвалась и сильно ударила его по спине. Вообще, работа на «фанерке» была трудоемкой, вредной и опасной. В цехах возле прессов было жарко, из них постоянно валил пар, а ворота с обоих концов нараспашку, окна открыты, а то и вовсе без стекол. Даже зимой. В цехах постоянно гуляли сквозняки, а одежда на рабочих была отсыревшей от пара и пота. Отец, помнится, еще смолоду страдал радикулитом. Но на работу не ходил лишь в том случае, когда врач «давал билютень» — освобождение от трудовых обязанностей в связи с заболеванием. Ну а «за вредность» профком ежемесячно выдавал талоны на молоко — поллитра за каждый рабочий день...

На работу батя добирался так: зимой пешком — напрямик через замерзшую Пину примерно пять километров. А летом вкруговую через мост примерно тринадцать километров на *ровэры* — велосипеде.

И всё было нормально. Ничего вроде особенного в судьбе отца не случилось и после «освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию». Он всё также работал на пинской «фанерке». Разве что зарплату стали выдавать другими деньгами и меньше товаров стало в магазинах, как и самих магазинов в Пинске. До войны с немцами (Великой Отечественной) Пинск процентов на 70—80 был еврейским городом — в том смысле, что более двух третей его населения составляли евреи. Предприятий практически не было, в основном небольшие мастерские, а вот торговля и мелкие ремесла, что называется, процветали. Впрочем, речь не об этом. В марте 1941 года батя пошел на работу напрямик в сторону Пины. Но, подходя к реке, понял, Пина «пошла». Побежал в сторону моста — добрый километр по талому насту, по бездорожью. А там еще по городу с километр, не меньше, до «фанерки». Пока пришел на завод, опоздал на полчаса.

В тот же день батю забрали. Суд был недолгим. Безо всякого разбирательства и следствия — год тюрьмы. Вместе с ним осудили нескольких евреев, отказавшихся работать в субботу, и какого-то бедолагу, на заводской свалке отрезавшего от старой транспортерной ленты два куска на подметки — подбить сношенные ботинки. Еще недавно это было в порядке вещей, а теперь... Пусть гниет, но братья не смей — социалистическая собственность!..

Осужденных на короткий срок никуда не увозили. Выводили на разные городские работы. В основном — на распиловку леса и заготовку

дров для отопления различных городских учреждений и заведений. Их в областном Пинске появилось столько, трудно было запомнить. Тем паче людям, толком не знавшим русского языка, не умевшим читать по-русски...

В первые дни войны, которую вскоре объявят Великой Отечественной, немцы двигались, оставляя Пинск в стороне. Минск, как известно, они оккупировали 28 июня 1941 года, а в Пинск вошли лишь 5 июля. К этому времени охрана пинской тюрьмы эвакуировалась на восток, а заключенные разбежались по домам. У кого он, дом, разумеется, был. Правда, радость арестантов, нежданно получивших свободу, была недолгой. Немцы, немного освоившись в Пинске, тут же всех беглых советских арестантов вернули по камерам. Скоренько нашли по спискам, которые бывшая тюремная охрана, оставляя Пинск, не уничтожила. Немцы заключенных использовали на восстановлении железной дороги, которую недавно они же и разбомбили.

На себе носили шпалы, рельсы. Один рельс несли шесть человек на ломах: три человека с одной стороны и три — с другой. А шпалы — по две — также на ломах несли четыре человека. Не кормили, не давали курева. Всё это передавала родня арестованных. Как-то батя и его пятеро напарников несли рельс от места выгрузки к ремонтируемой дороге. А все другие арестанты присели покурить. Несут они рельс, надрываются, а тут подбегает офицер охраны и давай лупить их плеткой! По рукам, по плечам, по лицу. Стали они прямо с рельсом в руках, не возьмут в толк, с чего это, и рельс бросить боятся, чтобы еще больше не перепало.

Но тут офицер остановился, подзывает переводчика, приказывает всем построиться. И объявляет: *«Должен быть порядок! Вы теперь работаете на великую Германию, на фюрера, во всем должен быть немецкий порядок. Работат — значит всем работать! Курить — значит всем курить! И только по команде!»*

Курили «самосад» — махорку. Табак собственного посева и домашней обработки. Сами садили, сами резали вручную на мелкие части табачный лист. Табачный лист сушили в старой, вышедшей из употребления металлической посуде или на «бляхе» — небольшом листе из металла — в печи на остывающих головешках, а в жаркий день — на солнце. У каждого были свои «приемы», но было одно общее — подальше от посторонних глаз. Готовый к употреблению табак — махорку — высыпали на небольшой листок бумаги, сворачивали самокрутку. Как правило, из старых газет, разрезанных на небольшие дольки-куски. «При поляках» посадка табака строго каралась законом. Как и самогонварение. Штрафы для простых людей — селян и рабочих, кто обычно и занимался этим, — были просто разорительные. Сборщики податков¹ совершали рейды по деревням и городским окраинам, выискивая в огородах посадки табака. Его легко можно было определить по запаху, особенно тихими теплыми летними вечерами. Но разве напугаешь нашего мужика штрафом? В особенности любителей выпить и покурить... Табак курящие мужики садили небольшими «плантациями»-клочками среди картошки или других традиционных у нас овощей где-нибудь в дальнем закуте двора. Ну а самогон варили... Впрочем, про это известно немало, да и речь-то совсем о другом...

¹ Податок — налог (польск.).

Батя рассказывал, что у него руки чесались дать этому гаду в холеную морду, да так врезать, чтобы голова отлетела! Я на тебя, гадина немецкая, голодный, даром работаю, а ты меня за это бьешь?! Больше всего его удивляло и, по-моему, злило даже через годы, когда он рассказывал нам, то, что немецкий офицер стал бить их, работавших, а не присевших покурить без команды. Тогда же решил: при первой возможности бежать. И бежал. Днем прятался в лесу, а на ночь шел к дому, ночевал в клуне, на отшибе двора...

Отец, сколько я его помню, всегда был человеком сдержанным, даже тихим, правда, тихоней не был. Как-то летом, за год или два перед моим походом в 1 класс, на соседней улице загорелся дом. Батя в этот день работал в третью смену и перед обедом пошел к колонке по воду. Только вышел, как увидел: на соседней улице в каких-то двухстах метрах из-под крыши дома вырываются клубы дыма. Оставил ведра и побежал туда. Двери дома, из которого валил дым, были не заперты. Быстро пройдя по коридорчику на кухню, услышал громкий детский плач. Три девочки, забившись в угол за печкой, надрывались от плача. Батя тут же сгреб в охапку двоих, а третью взял за руку, выбежал из начавшего гореть дома. Сам не обгорел, но дыму успел глотнуть хорошенько. Отпивался кислым молоком. Его у нас хватало — мать не работала, держала за речкой «кормилицу» — корову. А батю, помнится, пожарные выписали денежную премию. Получив ее, купил мне и сестре подушечек — были такие конфеты, самые тогда дешевые. Ну а с одной из тех соседских сестер, самой младшей, что батя вынес из горящего дома, я потом учился в одном классе, правда, не с первого, а с пятого. Мы никогда не вспоминали про пожар в ее доме. В детстве всё страшное забывается быстро. Не припомню, чтоб и батя вспоминал про этот свой подвиг. А вот мама незадолго до смерти, вспоминая наш дом на улице Пугачева, обмолвилась и про пожар на Фруктовой, про батькин поступок. Оказывается, на премиальные от пожарных он купил ей платок...

А еще мама рассказывала мне, причем, не один раз, как я стал Валерой. Батя пошел в ЗАГС зарегистрировать мое появление на свете, выписать метрики. «Как решили назвать сына?» — спрашивает работница ЗАГСа. «Валиком», — отвечает батя. «Сейчас в моде имя Валерий, многих мальчиков записывают этим именем», — говорит служащая дама. Батя в ответ: «Мне сказали Валиком записать». — «Знаете, Валентин, Валерий — это тоже самое». — «Ну, если тоже самое, записывайте Валерой».

Так в мире одним Валерой стало больше. Мама не однажды говорила, что моя бабушка Варвара, ее мать, долго не могла даже выговорить мое имя...

Жизнь человеческая сколь сложна, столь и проста. Мы сами себе усложняем ее. А то и гробим. Бездумно, бездарно и глупо. А она, жизнь человеческая, коротка и мимолетна: была — и нету. И неповторима. Как бы того ни хотелось!..

Самое странное, мы с отцом никогда не поговорили, что называется, по душам. Я рано стал загуливать, водиться со шпаной. Еще учась в школе, едва маленько повзрослев, не раз приходил домой с «фонарями», с запашком дешевого вина. Кому такое понравится? Но что удивительно: батя меня уже не отчитывал. Только горько кивал головой, мол, пропащий ты хлопец...

Я и близко не предполагал, что по молодости лет батя и сам был не в ладах с законом. Еще до прихода советской власти в Западную Бело-

руссию, когда его за опоздание на работу укатали в каталашку. Лет пятнадцать тому пинский краевед и литератор, преподаватель Полесского государственного университета Александр Ильин, работая в Брестском областном архиве, наткнулся на протокол польского «судебного исполнителя Петемковского Антона, сына Николая, 41 года, католика, сборщика налогов». Приводить протокол целиком не буду, но некоторые фрагменты приведу. Протокол составлен по-русски, но с большим количеством ошибок, как грамматических и пунктуационных, так и стилистических. Тем не менее это документ эпохи, так что...

«16 мая 1939 года в 14 часов будучи в Завидчицах, гм. (гмина) Хойно, направился вместе с солтысом¹ этого села Якимчуком Григорием к Федору Гришковцу, где забрали гармонь за неуплату штрафа наложенного на него пинским староством. После выхода на улицу подбежал к нам Гришковец Федор с требованием отдать ему гармонь. А когда я сказал, что если не заплатит штраф в 3 злотых, то гармонь не отдам. Тогда Гришковец силой стал вырывать гармонь у солтыса. Во время вырывания гармони Гришковец ударил меня в грудь, а солтысу вывихнул палец и гармонь разорвал на 3 части, причем 2 части забрал с собой, а 3-ю отдал добровольно, так как не представляла собой ценности. В виду сильного сопротивления позвал на помощь полицию и на следующий день вошли с полицейским в его дом. Гришковец повторно отказался платить штраф. В виду этого с помощью полицейской силы я забрал у него 3 злотых...»

К протоколу приложены объяснительная сборщика налогов, солтыса и отца. Из его объяснительной следует, что он нарушал общественный порядок еще ранее — летом 1935 года. Решением Пинского городского суда в отношении бати применен полицейский надзор. Из решения суда я узнал, что «Федор Гришковец имеет в селе не очень хорошую репутацию, так как характер порывистый и склонный на авантюру. Также подозревался в нелегальном хранении (жаль, не указано, чего. — авт.). У него проводили обыски, но ничего не нашли. 9 сентября 1939 года в Пинске состоялось заседание городского суда. Наказание Гришковца не превышает срока в 1 год и подпадает под декрет президента Польши об амнистии. Федор Гришковец, род 1913 г. родители Феодосий и Пелагея, фамилия матери Меша, место рождения с. Завидчицы, гм. Хойно, гражданство польское, национальность полешук, образование 3 класса начальной школы, холост...».

Спасибо Александру Ильину — не поленился, сделал ксерокопию протокола сборщика налогов Петемковского, объяснительных записок солтыса деревни Завидчицы и отца. А также выписки из решения Пинского суда привез и передал мне. С Ильиным мы не были друзьями, но нас связывала любовь к Полесью, к Пинску, к литературе. По мере возможности мы общались, обменивались новостями, книгами. Я посоветовал ему исследовать «пинский период» в творчестве Евгении Янищиц. Подсказал имена людей, кто ему поможет в данной работе. Что он и сделал. А до этого никто никогда не исследовал этот начальный период творческого пути поэтессы Янищиц, как будто она на свет божий и литературный сразу появилась на филфаке БГУ...

Жаль, очень жаль, что исследователя Полесья, его истории и культуры Александра Ильина уже нет с нами пять лет. Он стал одной из

¹ Солтыс — староста (польск.).

первых жертв ковида на Пинщине. Это эссе я посвящаю памяти своих родителей — Федора Феодосьевича и Марии Борисовны — и, конечно же, памяти Александра Ильина. Благодаря ему и состоялось это эссе, а еще я много чего узнал о своем отце. Признаться, я забыл, как звали его мать, мою бабушку. Она умерла еще в 1928 году от какой-то эпидемии. Оказывается, Пелагея. Теперь буду знать и обязательно указывать в поминальной записке.

Из выписки польского городского суда Пинска я узнал и о том, что образование отца — 3 класса польской начальной школы. А мне почему-то помнилось, что батя говорил, он окончил всего один класс. В любом случае, отец умел говорить по-польски, кое-как и читал. Когда во второй половине шестидесятых годов стали вовсю глушить «забугорные голоса», он слушал передачи «Радио Свобода», «Би-Би-Си» и «Голос Америки» по-польски. А в 1970 году, как сейчас помню, в конце лета, батя из Сибири, где был на заработках, прислал матери письмо. Конверт подписал кто-то другой, а вот письмо было написано рукой бати. Оно долго лежало на столе в большой комнате. Я несколько раз перечитывал его. Мне было не столько интересно содержание письма, я уже знал его наизусть, сколько забавно было читать буквами латинского алфавита давно мне знакомые, самые обычные слова местного полесского диалекта. Правда, в письме отца проскакивали и польские, и русские слова, но все они были написаны латинскими буквами. Не совсем, конечно, грамотно, тем не менее...

Годам к четырнадцати я окончательно заболел писанием стихов, всё меньше уделял времени учебе и всё больше, как говорил батя, просиживал штаны за дурницей. Так он называл не только мои стихотворные мытарства. Батя изначально не одобрял мои поэтические потуги. Мало того, он буквально требовал, что бы я «бросил эту дурницу!». Ну а когда стало ясно, что это — писание стихов — со мной навсегда, батя как-то сказал мне довольно дружески, вроде как попросил: «Нэ пишы тылько про Ленина и партию». А я писал. И писал немало всего-всякого. Вскоре после армии позвали на работу в газету, а жить в обществе и не быть зависимым от общества, говорил товарищ Ленин, невозможно...

Ну, а стихи я посвящал... самому себе! О чем бы и ком бы ни писал, я всегда, как теперь окончательно понял, писал и пишу про себя.

В заключение, думаю, будет уместным привести свою запись из дневника от 20 апреля 1997 года:

«С годами всё чаще вспоминаю отца, Федора Феодосьевича. Был он человеком добрым, мудрым. И трудяга был такой, каких теперь не особо и сыщешь. И всё у нас было миром и ладом, пока я не начал «гастроли». Приду, бывало, домой с кем-нибудь из таких же «гастролеров», а он мне: «Эх, сынок, сынок, лучше с умным потерять, чем с дураком найти». А то в очередной раз собираюсь сваливать из дому в «края далекие», он, не долго думая: «Сынок, сынок, куда вороне ни лететь, везде говно клевать»...

Я потом, после его тяжелой болезни и смерти, не раз заглядывал в книги пословиц и поговорок, как русских, так и белорусских, но ничего подобного не встречал.

Разумеется, батя мой не был «святым». Любил и выпить, и напивался порой до сильного «шатуна», но никогда не запивал, не скандалил по пьянке и уж тем более — не пил в долг...

У меня много друзей. Есть и было. Были и есть подруги, спутницы, так сказать, жизни. Много и знакомых стариков, людей пожилых. Но никто и никогда не заменит мне отца — в совете, в жизненной поддержке. А слушать его как раз я-то и не слушал. Слышать слышал, но увы... А жаль. Повторяю, был он, отец мой, человеком поистине мудрым, глубоким, хотя и закончил всего один класс польской школы.

Сколько помню, садясь к столу и вставая из-за него, он молился и всегда произносил одну и ту же молитву «Отче наш». То же самое и отходя ко сну, и вставая с постели. А вот в церковь не ходил. Совсем. По крайней мере, я не припомню такого. Из-за этого у них с матерью частенько происходили перепалки. Так же поступал и отец его, мой дед Феодосий Максимович.

Мир праху твоему, батя!..»

Лет около двадцати тому я написал стихи, посвященные отцу. Одобрил бы он их? Скорее всего, нет. Батя был человеком не тщеславным, никогда не делал что-либо напоказ. Хотя мастерил много всего такого, что мог бы и похвалиться. А в делах хозяйских с него можно было брать пример. Уж если он что-то делал, то делал хорошо, качественно, красиво, в работе всегда был очень аккуратен. Помню, как соседские мужики посмеивались с бати, вот, мол, Федя даже дрова по мерке режет. А батя действительно для каждой печки-грубки, а также для кухонной плиты заготавливал дрова точно по мерке, им же и снятой. И кострища в нашем дворе всегда были ровные, сразу можно было узнать, где и для какой печки брать дрова, а где дрова для кухонной плиты...

Что же было в отце моем русского?
В Войске Польском когда-то служил.
И дорогой, горбатой да узкою.
Словно конь, батя рвался из жил.

Невысокий, а выправка, выправка!
На подбор, выжил кто, мужики!
Говорил с диалектом, а выпьет как:
— Что ж мы, русские, все — дураки?..

Эх, веселые вы да двужильные.
Что ж вы нажили-то, чудаки?
Нынче делят гербы фамильные,
Достают из могил стяги...

Что ж мне выпало отчего, кровного?
Знаю, батя, пуста твоя клять, —
Взбунтовалась душа непутевая,
Возжелала по-русски запеть...

2.

Что русского было в батьке моем?
Вопрос, как ладонь, твердо ставил ребром.

